

журнал
критики и литературоведения

ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Январь — Февраль 2010

В НОМЕРЕ:

Пророки конца эона

**Лица современной литературы:
Г. Цвель, И. Меламед, В. Маканин**

**«Дело Вальбе»:
проблема плагиата в современном
литературоведении**

Встречи с Маяковским

Беседа с Татьяной Бек

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРАТУРА»

СОДЕРЖАНИЕ

История идей

- 5 **И. РОДНЯНСКАЯ.** Пророки конца эона. *Инволюционные модели культуры как актуальный симптом*

Литературное сегодня

Лица современной литературы

- 57 **И. РАШКОВСКАЯ.** «Мне нравится, как он уходит...» *Глеб Цвель*
69 **Е. ИВАНОВА.** Опыт преодоления боли. *Игорь Меламед*
84 **В. КОЗЛОВ.** Экзистенциальный задачник. *Владимир Маканин*

Книги, о которых спорят

- 105 **М. АМУСИН.** Панацея от испуга

Век минувший

- 125 **А. ТУРКОВ.** «По сведениям, полученным от...» *В защиту «черной кости»*
130 **К. АЗАДОВСКИЙ.** О плагиате
143 **Е. ЧИЖОВА.** «И смогу сделать только я...»

-
- 161 **В. ПЕРЕЛЬМУТЕР.** Фрагменты о Шервинском

Филология в лицах

Ю. Н. Чумаков

- 200 **М. ВИРОЛАЙНЕН, С. БОЧАРОВ.** От поэтики к универсалиям
212 **К. ИСУПОВ.** Имманентная поэтика и поэтология имманентности

История русской литературы

- 227 **Г. КРАСУХИН.** Соавторы Белкина

Над строками одного произведения

- 247 **Ю. БАРАБАШ.** Казаки и свинопасы. *Т. Шевченко: фрагмент «Юродивый» — перечитывая заново*
277 **Е. ПОГОРЕЛЬСКАЯ.** «В дыму и золоте парижского вечера...» *Исторический и литературный контекст рассказа И. Бабеля «Улица Данте»*

К. ИСУПОВ

ИММАНЕНТНАЯ ПОЭТИКА И ПОЭТОЛОГИЯ ИММАНЕНТНОСТИ

Книга известного саратовского филолога манифестирует тот род синтетического комментария текста, который назван «имманентным анализом», или «имманентно-интуитивной методикой» (с. 10)¹.

Отметим высокочисленный акцент на интуицию как необходимое «мысленное усилие» (А. Бергсон) аналитика при работе с текстом. Еще в статье 1952 года знаменитый немецкий автор Э. Ауэрбах, отстраняя тематику новой историчности в ряду задач «гуманитарно-филологической деятельности», говорил о преимуществах «личной интуиции» в работе с такими объектами предельного объема, как мировая литература. Речь здесь идет об «ис-

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 09-06-00223-а «Методология гуманитарного знания: сумма технологий».

¹ В дальнейших обращениях к монографии имеется в виду лишь «тютчевская» половина исследования.

торическом синтезе» как возможном итоге философского осмысления всеобщей словесности: «Исторический синтез <...> хотя он и совершенно немислим вне научных методов и приемов в работе с материалом, все-таки может быть создан лишь на основе личной интуиции, и, следовательно, его нужно ожидать только от индивидуального автора»².

Не будем обсуждать сомнительный пропедевтический вес интуитивистски окрашенной методики анализа. Увы, опыт интуиции так же непередаваем, как опыт любви или память смерти. Важнее другое: строгость научного дискурса в сочетании с умением «схватывать» в целом смысловое тело текста дают нам те впечатляющие результаты, суммой каковых и является книга Ю. Чумакова.

Условием искомой адекватности метода своему объекту является философическая компетентность автора, причем не столько историко-философская осведомленность имеется здесь в виду (никого этим не удивишь), сколько ясное сознание коренного — нераздельного и неслиянного — родства филологии и любомудрия как фундаментальных оснований работы гуманитария с текстом.

Не без иронии говорит об этом и автор, вспоминая реплику М. Гаспарова о пушкинских штудиях Ахматовой о «Каменном госте»: «...классика околонуучного интуитивизма» (с. 12). Но далее несколько неожиданное: «...философия в принципе околонуучная дисциплина» (там же). Вряд ли философы согласятся с таковой дефиницией, они тут же отомстят чем-нибудь вроде: «а филология — не околотекстовая дисциплина?».

Однако недаром в авторском предисловии припоминается статья А. Скафтымова 1923 года «К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы». Имя Скафтымова, значимое и само по себе, нудит к выстраиванию целого ряда блестящих имен отечественных филологов и, что чрезвычайно

² Ауэрбах Эрих. Филология мировой литературы/ Перевод с нем. Ю. Ивановой, П. Лещенко, А. Лызлова // Вопросы литературы. 2004. № 5. С. 132.

важно, свободных мыслителей и профессиональных философов, вольно или невольно связавших свою судьбу с молодым Саратовским университетом.

Саратов в 1910–1940-е годы — прибежище универсально одаренных аналитиков мировой литературы, исследователей духовно-социальных ситуаций, герменевтиков исторической жизни прошлого и настоящего. Скафтымов трудится здесь со дня основания в 1917 году историко-филологического факультета; Н. Пиксанов в 1917–1921 годах профессорствует на кафедре русского языка и литературы. Возникает Общество литературоведения (1928–1931) со своим печатным органом — сборниками «Литературные беседы» (1929, 1930). Председатель научного сообщества С. Франк — первый декан историко-филологического факультета (1917–1918), успевший пройти часть своего пути «от марксизма к идеализму», уже известный как один из авторов «Вех» (1909), переводчик Виндельбанда, Фишера и Шлейермахера — был в Саратове до осени 1921 года. Ведущие участники Общества — В. Жирмунский и Н. Пиксанов³. Военные годы Второй мировой прошли в Саратове для Б. Эйхенбаума. Лингвисты М. Фасмер (с 1917-го) и Н. Дурново (почетный член Московского лингвистического кружка в 1920 году), этнографы и фольклористы Ю. и Б. Соколовы, Е. Покусаев — все эти люди в разное время работали на формирование и сохранение научных традиций факультета. Если прибавить к этому еще одного неокантианца — В. Сеземана (1917–1921), который вместе с Франком в 1920 году приветствовал в стенах университета медиевиста и философа Г. Федотова, в недавнем прошлом — редактора-издателя журнала «Свободные голоса» (1918), органа философско-религиозного кружка А. Мейера «Воскресение», куда входили были Д. Лихачев, Л. Пумпянский и М. Бахтин, — список оказывается более чем достаточным, чтобы представить себе степень духовной напряженности, которая определяла интеллектуаль-

³ См.: Из переписки А. П. Скафтымова и Ю. Г. Оксмана / Предисл., сост. и подгот. текста А. А. Жук // Russian Studies. 1995. № 2.

ный климат саратовского ученого оазиса (или, как сказал бы В. Топоров, «урочища»). С будущими коллегами из ЛГУ, эвакуированными в Саратов, уже и сам Юрий Николаевич, студент СГУ, мог общаться в 1944 году напрямую; его рассказы о Г. Гуковском с теплотой вспоминает Б. Егоров⁴.

Герменевтическая традиция, инициированная легальными филологами и опальными мыслителями, не минула Чумакова; по сути, в его книге даны образцы той относительно новой методики описания текста, в которой привычные методы «целостного анализа» (М. Гиршман), не конкурируя, инкрустированы в общую мировоззренческую арабеску с приемами целого ряда гуманитарных дисциплин — от исторической психологии и антропологии до истории науки и космологии.

Лишь на рубеже двух последних веков медленно преодолевается трагическая разобщенность филологии и философии; катализатором этого процесса стал всеобщий анамнезис так называемой философской критики Серебряного века, пережитый нами на рубеже XX—XXI веков. Вспомнили, наконец, что такие школы мысли, как экзистенциализм и персонализм, возникли, вопреки общему мнению, в форме достоевиедения в его бердяевском изводе.

Эвальд Васильевич Ильенков не зря потратил свое время на гегелевский семинар для молодых тогда теоретиков ИМЛИ, которые в свою очередь сделали все возможное и невозможное, чтобы вернуть современнику сочинения саранского отшельника. В Институте философии Академии наук родилась Лаборатория постклассических исследований; возник Институт человека. Опыт мировой литературы был повышен в экзистенциальном ранге и возвращен — как объект исследований — к своим бытийным истокам. После Шестова и Хайдеггера гово-

⁴ Егоров Б. Ф. Попытки Г. А. Гуковского не противостоять официальному «марксизму» // Homo Universitatis. Памяти Аскольда Борисовича Муратова. Сб. статей / Под ред. А. А. Карпова. СПб.: Факультет филологии и искусств, 2008.

речь о природе времени означало заново открыть опыт хронорефлексии в текстах Достоевского и Гёльдерлина.

Уже сегодня можно составить контурную карту исторической географии отечественной филологии, которая отразила бы расширение и дифференциацию ее ментального ландшафта; ответственными точками такого контура стали бы не только имена наших столиц, но в не меньшей степени — Тарту и Рига, Петрозаводск и Таллинн, Даугавпилс и Новосибирск, Ижевск и Воронеж, Донецк и Самара, Орел и Кемерово, Псков и Саранск, Томск и Тюмень, Смоленск и Челябинск, Сыктывкар и Долгопрудный, Курск и Саратов. Список нетрудно нарастить.

Общей тенденцией стала экспансия философического и культурологического антуража в словарь терминов литературоведов. Избыточным следствием этого в целом благодатного процесса явилась, как водится, мода на «слова»: как некогда знаковым было словоупотребление «оппозиция», «модель», «хронотоп» и «диалог», то ныне — «номадизм» и «апофатика». Обытовление термина в научном обиходе сродни вербальной символизации во времена Серебряного века, когда твердо помнили, что «золото в лазури» — это не просто пшеница на фоне неба.

Соблюдая ритуал вызывания духов предков, современный мыслитель В. Подорога спешит поставить в один ряд светских философов рубежа веков, филологов, психологов, историков культуры и переводчиков: «Как я мог бы, например, при изучении литературы Гоголя обойтись без работ В. В. Розанова, И. Анненского, А. Белого, В. Виноградова, Б. Эйхенбаума, Ю. Тынянова, В. Гиппиуса, В. Набокова, Ю. Лотмана, а при изучении литературы Достоевского без работ Вяч. Иванова, З. Фрейда, А. Жида, М. Бахтина, П. Бицилли, А. Бема, Я. Голосовкера, М. В. Волоцкого. Каждую литературу этого ранга сопровождает шлейф интерпретаций. Бесспорно, они наследуют, противоречат, конкурируют друг с другом, но без них мы не в силах выработать собственную позицию»⁵.

⁵ Подорога В. А. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы. В 2 тт. М.: Культурная революция, Логос, logos

Среди вводных постулатов книги Чумакова встречаем: «Я предпочитаю монографическое описание вещи, взятой в ее *отдельности* (А. П. Чудаков) и *окажioнальности*» (с. 11).

Не звучат ли здесь отголоски старой распри академической науки и семиотического литературоведения? С грустью смотришь теперь на статьи, в которых упрекали семиотиков и приверженцев структуральной поэтики в том, что для них не существует уникальных произведений (то есть «отдельностных» и «окажioнальных»). А вся-то разница была в том, что адепты московско-гартуской школы вскрывали работу универсальных оппозиций внутри «отдельно взятых» текстов, а их мнимые противники настаивали на единственности эстетической реализации того или иного тематического комплекса в рамках единственного и имманентно-контекстуально рассмотренного произведения. Оставим в стороне справедливые попреки в адрес структуралистов в усилении жесткости Кантова априоризма, как и столь же порой уместные реплики в сторону их оппонентов по поводу «соблазна диалектики».

Намеренно или нет, но в одном пассаже Чумакова вполне по-гегелевски «сняты» методологические конфликты давно отшумевших дискуссий: «Взять одно стихотворение, к тому же минимальное по объему, и спроецировать чертеж его устройства на более крупные стихотворения, на стихотворные группы, периоды твор-

altera, 2006. С. 12. Ср. здесь же: «Западное литературоведение начало искать более эффективные методы анализа в 20–30 годах, а в 50–60-х значительно расширило свои возможности, когда стало опираться на новейшие философские методы аналитической работы. Так исследователь литературы незаметно стал знатоком философии, этнологом, психоаналитиком, лингвистом и историком культуры. В отечественной традиции достаточно назвать имена М. Бахтина и Ю. Лотмана. Среди западных ученых — прежде всего М. Бланшо. Но даже те исследователи, которые считали себя только *специалистами* по истории и теории литературы, не смогли бы добиться значимых результатов без опоры на ведущие философские идеи своего времени (пример Ж. Старобиньского/М. Мерло-Понти, Ж. Пуле/Ж. -П. Сартра, я уже не говорю о влиянии идей А. Бергсона на разработку методов литературного анализа — “тематического”, — предложенных Г. Башляром)».

чества поэта, чтобы проявить опорные структуры и общие правила, — такое предприятие кажется претенциозным и самонадеянным. Но что делать, когда кругом оказываются подобья, и пусть эти подобья приблизительны и схематичны, пусть все конкретное рассыпается и собирается в калейдоскопическую мозаику, за феноменом личности и поэтики Тютчева как бы всегда стоит нечто ноуменальное, имеющее какие-то очертания. И диктует!» (с. 371).

Юрий Николаевич напрасно именуется свое предприятие «претенциозным и самонадеянным», хотя в буквальном смысле этих избыточно самоуничижительных слов он прав: есть обоснованная претензия имманентного анализа на полноту итогов, и есть надежда на правоту интуиции исследователя.

Чтобы оценить возможности и масштабы имманентной поэтики, позволим себе кратчайший обзор ряда аналитических опытов Ю. Чумакова. Первая статья третьего (тютчевского) раздела книги — «Принцип “перводеления” в лирических композициях Тютчева» (1993; 1996). Автор анализирует строфическую манеру Тютчева: 16-строчное стихотворение делится на пару восьмистиший. Резонно спросить: почему же деление на катрены, диктуемое всей мировой стиховой традицией, не оказалось актуальным для русского поэта? Объяснение композиции «двойчаток» таково: «Как бы ни были разведены и собраны в себе восьмистишия, вся вещь выглядит сделанной “из одного куска”. Межстрофный пробел словно только что рассек некое бесформенное пятно, раздваивая его и тем самым организуя. Это усилие творца в поэтическом континууме мы и называем “перводелением”» (с. 300).

«Деление на восьмистишия, — говорил применительно к Пушкину в 1921 году В. Жирмунский, — не только типографский прием, а соответствует вполне ритмическому заданию поэта»⁶. Отметим, однако, что если автор

⁶ Жирмунский В. М. Теория стиха. Л.: Советский писатель, 1975. С. 446.

старой книги «Композиция лирических стихотворений» не озабочен мировоззренческим контекстом «ритмического задания», то Ю. Чумакову важно подчеркнуть в «перводелении» его способность быть графическим инструментом смысловой архитектоники текста. Чем-то эти искания «принципов» и «первопринципов» напоминают штудии наших формалистов (и это прекрасно), а чем-то — не менее патетические лозунги совсем иной школы.

Яркий пример — статья Л. Пумпянского «Об исчерпывающем делении, одном из принципов стиля Пушкина» (1923). Термин автору понадобился для того, чтобы прояснить отношение к знанию в классицизме и романтизме: если в рамках первого тема знания «покрывается <...> темой расчленения по составу», то романтизм, «заменяв исчерпывающее деление ассоциативной дискурсией, всегда связан с мировоззрением»⁷.

Коротко говоря, мы имеем дело с философической спецификацией приема: «перводеление» в книге саратовского ученого работает на пиктографическую инженерию тютчевской картины мира (онтология и антропология), а «исчерпывающее деление» у Пумпянского — на режим эстетического суждения (гносеология и логика).

Примеры сии заразительны; автор настоящих заметок не мог удержаться от соблазна обосновать наличие в поэтике Брюсова «принципа исчерпывающего перечня». Русский поэт одержим стихией перечисления: списки вещей, минералов, кораблей, имен, городов и стран перекрываются реестрами эпох, ландшафтов, событий истории и т. д. Ему надо рассказать о всех возможных способах суицида, испробовать все возможные строфические формы и типы экфразиса. Брюсов создал всеобщую опись Бытия. Так и ленты вечных ситуаций встреч и разлук, конфликтов и войн раскладываются и складываются, как гармошки, чтобы усилием эпического обобщения

⁷ Пумпянский Л. В. Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы / Отв. ред. А. П. Чудаков; сост. Е. М. Иссерлин, Н. И. Николаев; вступ. ст., подгот. текста и прим. Н. И. Николаева. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 210.

можно было «обрезать» эти поэтические экзистенциалы по краям смысловых контуров, — и так ваяются чистые эйдосы *Встречи*, *Разлуки*, *Конфликта* и *Войны*, свободные от всяческой темпоральности. Коллекционерский пафос Брюсова выдает в нем апологета всеобъемлющего знания — энциклопедизма, так и не перешедшего, увы, в подлинный универсализм (как у о. Павла Флоренского или акад. В. Вернадского). Недаром и в трактовке символа он отстаивал гносеологическую позицию, в отличие от Вяч. Иванова, который видел в символотворчестве прежде всего возможность онтологических новаций в области *realiora*⁸.

На изысканных композициях иного типа нам показана сокращенная модель «двойчатки». Так, в миниатюре «Как дымный столп...» первых два и два последних стиха «имитируют четверостишие, а третий стих вербализует пробел, то, что было за паузой между двумя восьмистишиями». Два двустишия наделены разными функциями: «...в одном случае перед нами мир, во втором — его смысл (онтология и гносеология)» (с. 309).

Конечно, Шеллинг остался в школе философии тождества до конца, но мюнхенский его собеседник выскажет глубокие сомнения в духовных возможностях Натуры. Ю. Чумаков вполне прав, когда говорит, что «у юного поэта можно разглядеть не теоретическое, не “шеллингианское”», но «изначально и органично присущее <...> чувство одухотворенности природы», и не вполне — когда в этой же фразе отмечает у Тютчева «тождество природы и духа» (с. 303). Уточним: если и имеет место тождество, то не «природы и духа», а природы и души (в пике позитивистам — «в ней есть душа»). Положа руку на сердце,

⁸ В эпистолярном диалоге с автором «Ключей тайн» (1904) мэтр символизма заметил: «Мифотворчество само налагает свою истину: соответствие ее объективной сущности вещей оно вовсе не испытует. Оно воплощает постулаты сознания и, утверждая, творит. Поэтому искусство для меня — преимущественно творчество, если хотите, — мифотворчество — акт самоутверждения и воли, действие, а не познание (такова и вера)» (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М.: Наука, 1976. С. 447).

спросим себя: а существует ли оно — «чувство одухотворенности»? Природа дана здесь в поэтике наивного гилозоизма, так что вернее было сказано на странице 366-й: «чувство всеобщей одушевленности».

Как для Тютчева Натура беспамятна и внеисторична, так и для Шеллинга она есть «несозревшая разумность» и знаменует душевное, а не духовное. Лишь в отклике на «заветное слово» поэта Природа обретает самосознание («Колумб») и вступает в план Истории и активной разумности. Вот тут-то Тютчев — опять «шеллингианец», но не совсем в том смысле, какой имеет в виду наш исследователь, когда он говорит, что, «хотя стихи Тютчева и можно соотнести с философскими идеями как Шеллинга, так и других мыслителей <...> но в них прежде всего обнаруживаются пласты архаического сознания» (там же). Все так, но ведь и поздний Шеллинг периода философии Откровения (начиная с берлинских лекций лета 1844 года, изданных посмертно вторым сыном философа Фридрихом в 1858 году) погружает стихии природы и силы Истории в глубины креативно понятого мифа, сплошь спиритуального. То, что Тютчеву представало как мифопоэтическая гипотеза в ряду гипотез (возможно и иное — отчаянное предположение: «И нет в творении Творца»), для Шеллинга стало умозрительным постулатом, что не слишком понравилось его берлинским слушателям — С. Кьеркегору и А. Шопенгауэру, в отличие от ярко положительной реакции И. Киреевского («Речь Шеллинга», 1846).

Мастерство поуровневого анализа демонстрируется в статье «Пир поэтики: Стихотворение Ф. И. Тютчева “Кончен пир, умолкли хоры...”» (1998). Virtuозный комментарий рифменных структур позволяет исследователю доказать их смыслопорождающую роль и сделать вывод: «Различные ритмо-рифмические структуры строф показывают, что первая сложена из свободно лежащих равноправных компонентов, подобно необработанным камням, в то время как вторая, иерархически-замкнутая и связанная, возводит из более унифицированных частей, как из обтесанных камней, высокое и всеобъемлющее здание» (с. 329).

Архитектурные метафоры Ю. Чумакова приводят к созданию внутри имманентного анализа собственной ар-

хитектоники (здесь: металогики) научно-эстетического суждения, то есть поэтологии самой имманентности — как той, что принадлежит художественному тексту с таящейся в нем программой описания, так и той, что дискурсивно вменена стилю аналитика. В Круге М. Бахтина говорили о возможности описания поэтики «Критики чистого разума». Э. Ауэрбах в цитированной выше статье убеждал в том, что личная правота ученого-интуита фундирует эстетический статус исследований мировой литературы.

Эстетика имманентного анализа — вот путь, на который выводит нас книга саратовского ученого.

Впечатляет в этом разделе и комментарий фонологических особенностей текста, хотя, как кажется, звуковая оркестровка в анализируемом стихотворении несколько размыта. У Тютчева есть примеры резкого, почти нарочитого противопоставления фонем, тематизирующих в рамках отдельного текста антитетичные мотивы. Вот строка, намечающая переход от дня к ночи в пьесе, которая так и называется «День и ночь» (1839): «Но меркнет день — настала ночь...». Трижды повторенное «е» («дневная» фонема) со(противо)поставлено трижды повторенному «а» («ночной» фонеме), и вся эта фонетическая фигура симметрично окаймлена по краям вокализмом «о»:

о [eee] - [aaa] о.

Для ценителей графического символизма добавим, что графема «о» может намекнуть и на образ бёмевской «бездны безымянной» — излюбленный в мистической и экзистенциалистской традициях *Ungrund'a*; Тютчев, как известно, высоко чтит визионерство тевтонского сапожника.

В аналитических «Заметках об идиожанрах Ф. И. Тютчева» (2003) идет разговор о специфических наджанровых образованиях. Навязанные нам усилиями В. Григорьева и иных лингвостилистов термины «идиостиль», «идиожанр» особой ясности в словарь литературоведческих терминов не внесли и не могли внести в силу своей словообразовательной тавтологичности: какой же стиль

не отмечен оригинальностью, если сама эта категория знаменует идею оригинальности? И какой жанр живет вне своеобразных авторских реализаций?

Ю. Чумакову это словечко понадобилось, чтобы 1) обобщить в нем свои наблюдения над обоснованным Пумпянским явлением дублетности; 2) доказать отсутствие в поэтике Тютчева принципа циклизации.

В одном-единственном абзаце саратовский филолог лишил хлеба множество коллег, защитивших диссертации по проблемам стихотворной циклизации. Сказано: Тютчев «в принципе поэт одной темы: космизации человеческого присутствия в Сущем <...> Стихотворения серии, вместе и по отдельности, репрезентируют поэтический мир Тютчева, так как обладают свойством имманентной контекстуальности. Каждое из них, конечно, является малым сегментом большого круга, но их самодостаточность, подобно монаде, компенсирует все остальное. Вот почему, в частности, стихотворения Тютчева не образуют циклов: они соотносятся с кодом, “ядром”, инвариантом, но не друг с другом» (с. 343). Чем же тут фигуры «серии» и «круга» отличимы от цикла и в плане синтактики (серийные цепочки лексически и тематически соотнесенных вещей), и в плане парадигматическом (репродуцирование и развертывание инварианта)?

Кроме того, цикл может оказаться сублимацией нереализованных жанров: поэмы, романа в стихах, романа в прозе. Когда в цикле «Кармен» Блок набирает курсивом начальное стихотворение и развертывает композицию цикла как последовательное, строчка за строчкой, смысловое расширение этого заглавного текста, нельзя не вспомнить о роли магистрала в жесткой фактуре венка сонетов. «Кармен» может быть интерпретирован как разрушенный венок сонетов, хотя ни одного сонета в него не вошло. Эстетическое «развитие» серии (и во времени, и в пространстве, по заданию одного из дублетов Тютчева — «развитие»), как и семантические дифференциации исходных тематических кодов и инвариантов, не отрицают, а подтверждают привычку Тютчева к стиховой циклизации.

Статья «Точка, распространяющаяся на все: Тютчев» (2003) — наиболее насыщенная философическими интуи-

циями. Эссе посвящено сложнейшей проблематике философской антропологии поэта, то есть человеку в аспектах космологии и космогонии. В названии очерка используется формула, «источник которой, к сожалению, наполовину утрачен», и звучит она «целиком так: “Человек — это микрокосм; сжатый, концентрированный мир, точка, распространяющаяся на все”» (с. 358). Об источнике формулы можно, наверное, говорить с долей условности; если даже не слишком увлекаться поисками универсалии «микрокосм / макрокосм» в мировой мифологии, в текстах древних авторов и в религиозных традициях⁹, можно сказать и так, что нам она досталась в уточненной интерпретации Николая Кузанского. Не без удовольствия рассуждают о человеке-микрокосме собеседники в трактате «Игра в шар» (*De ludo globi*, 1463 или 1464). Учение Кузанца о Боге как абсолютном минимуме и абсолютном максимуме, его диалектика свертывания / разворачивания, его образ Божественной Точки, в которую был «собран» Универсум, чтобы потом распуститься Розой Бытия (чем не теория Большого Взрыва?), наконец, по-возрожденчески горделивая теологумена о личности как «человеческом боге», — все эти концепты вошли в состав старинного образа человека-микрокосма.

В анализе ряда текстов Ю. Чумаков рассуждает о категории «избытка» и мифологеме «сна», о трагизме, катастрофизме и имперсализме Тютчева, о формуле «все во мне, и я во всем» и о поэтической дефиниции души: «Так, ты — жилища двух миров». Отметим, что почву для дальнейших комментариев антропологии и пневматологии Тютчева мог бы предоставить тот факт, что в последнем стихе слово «жилища» печаталось и цитировалось некоторыми авторами Серебряного века с заменой: «Так, ты — жилище двух миров».

Завершающий книгу этюд — «Геба и громокипящий кубок» (2006) представляет монографический анализ

⁹ Об этом см.: *Флоренский Павел свящ.* Макрокосм и микрокосм / Предисл. и подгот. текста игум. Андроника (Трубачева); прим. игум. Андроника (Трубачева) и В. А. Никитина // Богословские труды. М.: Московская патриархия, 1983.

«Весенней грозы». Здесь Ю. Чумаков осложняет свои филологические амплуа еще и позицией текстолога, что придает его работе дополнительную объемность и глубину.

Книга саратовского исследователя исполнена новой эстетики анализа. Когда Юрий Николаевич сравнивает по-барочному «избыточные гиперкомпенсации» с шахматными стратегиями Нимцовича (с. 299); когда в один ряд встают «знание об ангелах» у Тютчева, ангелология Бёме и цитата из «Рождественской звезды» Пастернака (с. 307—308); когда нам сообщают, что жесткость композиционных сочленений Тютчева похожа «на противосейсмические устройства для сопротивления хаосу» (с. 346); когда в «Анкетe о Тютчеве» (2003) натыкаешься на имена астрофизика Стивена Хокинга и философа Джорджо Агамбена (с. 403), — начинаешь понимать, что весь этот «орнамент» весьма и весьма релевантен для задач имманентного анализа.

Добавим: Ю. Чумаков — мастер риторических концовок своих этюдов. Вот наугад несколько:

— о роли чета и нечета в биографии Тютчева: «...личная жизнь Тютчева отчетливо устроена как двойственная структура, которая непрерывно возобновляется и может быть истолкована по правилам поэтики, например, восточной» (с. 311);

— «Кровавое вино и гибельное упоение битвы — это тоже пир. Все реальные пиры продолжаются в поэзии и поэтике <...> Стихотворение Тютчева, здесь прочитанное, в этой ситуации само подобно недопитому кубку» (с. 340);

— «“Весенняя гроза” — феерический мир, воодушевляющий и сокрушительный, как будто ты сам подхвачен обвалом стихий и страстей» (с. 399).

Перед нами не риторические излишества стиля, но элементы рабочего инструментария анализа в стадии продуктивного самораскрытия текста; при этом не только в смысловом теле художественного произведения «эстетическое переливается в онтологическое, поэтическое символизируется и становится универсальным» (с. 137), но и в научном произведении поэтика имманентности являет себя имманентной анализу. Еще раз Э. Ауэрбах: «Феноме-

ны, которыми занимается филолог, имеют свою предметность в себе самих; и настоящая трудность состояла в том, чтобы попытка синтеза не привела к потере этой самой предметности»¹⁰.

Ю. Чумакову удалось избежать этой опасности. В его книге явлен авторский дар аналитического свидетельства об искусстве слова. Не теряясь и не растворяясь в толпе своих «вечных спутников» на дорогах теоретического литературоведения, Чумаков оставил нам итоги впечатляющего синтеза академической основательности и смелых новаций своей эпохи. Если современная филология способна осознать в едином комплексе смыслопорождающую функцию стихового ритма и проблему оправдания Бога¹¹, будем считать, что надежды Э. Ауэрбаха сбываются.

¹⁰ *Ауэрбах Э.* Указ. соч. С. 138. О методологическом значении наследия немецкого ученого см.: *Махлин В. Л.* Второе сознание. Подступы к гуманитарной эпистемологии. М.: Знак, 2009.

¹¹ *Аверинцев С. С.* Ритм как теодицея // Новый мир. 2001. № 2.